

Николай Успенский

Змей



Николай Васильевич Успенский

Змей

«В ветхой избенке, стоявшей на краю одного уездного города, в ненастный осенний вечер, при свете ночника, сидели за ужином два молодых парня. Они только что пришли с бочарной работы и, как видно, сильно проголодались, потому что ели с большим усердием, хотя ужин их состоял из одной тюри, которую приготавливала грязная баба, сидевшая в углу избы с поникшей головою. Один из работников был худ, бледен, однакож не угрюм, и имел на вид не больше восемнадцати лет; другой несколько постарше, с открытым, полным лицом и слегка смеющимися глазами...»

**Николай Васильевич
Успенский
Змей**

В ветхой избенке, стоявшей на краю одного уездного города, в ненастный осенний вечер, при свете ночника, сидели за ужином два молодых парня. Они только что пришли с бочарной работы и, как видно, сильно проголодались, потому что ели с большим усердием, хотя ужин их состоял из одной тюри, которую приготавливала грязная баба, сидевшая в углу избы с поникшей головою. Один из работников был худ, бледен, однакож не угрюм, и имел на вид не больше восемнадцати лет; другой несколько постарше, с открытым, полным лицом и слегка смеющимися глазами. Они рассказывали друг другу, сколько выручили за день капиталу, в какие заходили дома, какую сбивали посуду и проч.

Между тем под окном шумел проливной дождь, в трубе завывал и посвистывал ветер, на всю избу звенели дрожавшие стекла. Работники порою замолкали и прислушивались к дождю.

– Как хлещет! – говорил один из них.

– Да, малый, – задумчиво отвечал другой.

Затем снова начинались разговоры. А сидевшая в углу баба продолжала дремать, по-

качиваясь взад и вперед.

– Тетка Арина! – обращаясь к бабе, проговорил старший малый, – не знаешь, хозяин дома?

– Чего?

– Хозяин дома?

Баба зевнула, потянулась и пробормотала:

– Господи Иисусе Христе... не знаю... Кажись, ушел куда-то. А-а-а... – опять зазевала она и почесала у себя правый висок, запустив пальцы под головную тряпицу.

– А что, тетка Арина, нет ли у тебя другого какого хлёбова? тюрю-то, слышь, ели, ели, ажно вспотели.

– Какого там тебе хлёбова! Ишь что выдумал: дай ему хлёбова... Где я возьму?

– Ну, так нечего, верно, попусту сидеть. Ступай, собирай со стола.

Работники вышли из-за стола, помолились образам и поблагодарили за хлеб за соль бабу, которая, поправляя на своем затылке съехавшую повязку, медленно подошла к столу, позевала немножко и начала собирать посуду.

– Тетка Арина! ты бы нам когда-нибудь теста наварила, – сказал старший малый, стоя

позади бабы и застегивая ворот своей рубашки.

– Чуден ты, Иван, право слово. Ты какой-то неразумный: теста, вишь, ему навари. Хозяйка я, что ли? Кабы я хозяйка была? их! я сама жру не лучше вашего: часом с квасом, порой с водой.

Иван проворно повернулся и пошел к печи, чуть-чуть напевая, как бы про себя: «Тетушка Арина, ты б нам тестица сварила».

– Семен! пойдём на печь, – сказал он товарищу, – ноне я тебе расскажу сказку, волос дыбом станет; такая занятная, пропади она. Давеча, братец ты мой, иду по Воронежской улице и кричу: «Обручи набив-а-а-ать». А сам думаю: «Эх, забыл сказать Сеньке одну сказку; беспрременно, мол, вечером скажу».

– Ну, рассказывай, рассказывай, – проговорил Семен, почесывая обеими руками свой живот, – да смотри, хорошенько.

– Уж отзвоню такую лихорадку – любо! Полежай на печку.

– Погоди маленько, дай напиться, сейчас...

В углу избы зазвенел жестяной ковшик. Через минуту работники забрались на печку

и приготавливались к рассказам.

Работница вытерла мочалкой стол, поправила ночник, перекрестила свой рот и отправилась к загнети.

– Ребята, тушить ночник-от? – сказала она разуваясь.

– Погоди, может хозяин призождет.

– Не замай же его, погорит. А-а-а-их-ну! Господи отец небесный... Христос милосливый...

– Ну вот, это мне рассказывал верный человек. У некого купца была дочка, самая что ни на есть красавица и любимая его. Звали Машенькой. Такая распрекрасная красота, что все купчики стадами бегали... Случились ее именины. Отец, пришедши от обедни, зачал ее поздравлять со днем ангела: «дескать, честь имею поздравить тебя, дочка милая». – «Благодарим покорно, папенька». Потом отец пошел в другую комнату и вдруг выносит на серебряном блюде кольцо золотое.

– Погоди, да я эту историю знаю, – прервал Семен.

– Как знаешь?

– Имениница получит кольцо и ненаро-

ком подавится им, так?

– От кого ты слышал?

– Не помню. А дальше там ее схоронят и за кольцом полезут к ней ночью воры, то есть в могилу. Вытащат из горла кольцо, она и воскреснет.

– Так, так. Ну, коли эту знаешь, надо другую говорить.

В это время в избу вошел с черной бородой, в длинной чуйке, хозяин. Он двумя пальцами сучил край своей бороды и глядел на печь, прислушиваясь к разговору работников. Но работники скоро замолчали.

– Что, ребята, вы не спите?

Иван бросился было слезать с печи.

– Лежи, лежи; я так пришел. Ну, как вы none день поработали, хорошо?

– Не совсем хорошо, Григорий Петрович. Ято сорок копеек принес, а вон Семен тридцати не выработал.

– Да, плоховато. Выше бога не будешь.

– Прикажете теперь деньги отдавать?

– Нет, завтра отдашь, лежи себе. Я так, на минутку зашел. Плоховато, плоховато! А я ходил к Еремею Иванычу; жена у сердечного по-

мерла.

– Померла? – спросил Иван.

– Померла.

Не переставая сучить пальцами бороды, хозяин задумчиво пошел вон из избы; на пути ногою подсунул под лавку ведро с помоями и скрылся за дверью.

– Ребята! – вдруг спросонья забормотала баба, – кто это приходил? Ребята!

– Воры, тетка, воры!.. ха-ха-ха-ха.

– Провалиться вам, жеребцы стоялые, – с сердцем сказала баба и завернула голову в дырявый армяк, из-под которого слышалось: «Чего хохочут? Насмешники, прости меня господи...»

Впрочем, двух минут не прошло, как она успела уже захрапеть на всю избу.

– Что бы тебе рассказать? – начал Иван, почесывая макушку.

– Про мертвецов знаешь? Вот расскажи.

– А ты веришь в мертвецов?

– А ты?

– Я не верю, – сказал Иван.

– А я верю.

– Ну, напрасно. Да ты размысли, разве мо-

жет мертвец вставать?

– Может завсегда. У нас в слободе каждую осень мертвецы бродили, потому отчего же им не бродить?

– Глупо, братец мой, ты рассуждаешь.

– А в писании сказано, говорят: мертвые восстают из гробов, – так ты должен поверить.

– Знамо, должен. Я должен поверить, ежели в писании сказано. Только про мертвецов рассказывать тебе не стану. Потому я про них ничего не знаю. Но вот... Сенька... погоди, брат.

– Что?

– Вспомнил. Сейчас расскажу. Такая история...

– Про мертвецов?

– Нет, про змея.

– Хороша?

– Эту, брат, только слушай; смотри не засни. Дли-и-инная... пойдет за полночь.

– Правда это?

– Истинная правда, вот увидишь.

По обычаю всех рассказчиков, приготовляющихся угостить слушателя занимательной

историей, Иван несколько раз кашлянул, плюнул, немного помолчал и начал:

– Слушай. В нашем селе некогда жил молодой огородник, по имени Антошка, человек безобразный собою и высоченного роста. Рост у него был так велик, что когда Антошка стоял на пустыре у нашей версты, то издали казалось, будто два столба торчали, ровные между собою. Одной слезы недоставало на верх, чтобы вышли качели. Такой удивительный рост. Ходил он всегда почесть в соломенной шляпе, с палкой или балалайкой в руке. При нем еще находилась белая собака, «Секрет» прозывалась. Мужики ее звали курятницей, ибо она кур ела. Этот Антошка, слышишь ты, был человек необнаковенный. Он имел у реки, на своем огороде, избушку и жил один; занимался такими делами: шил сапоги, вязал сети, строил клетки с западнями и обучал всякую скотину разным артикулам. Что то есть ему ни попадись – кошка ли, дятел ли, свинья ли... нет бишь, свиней он ничему не учил, так как свинья глупа. Но примерно вот цапля; эту он обучал. Одна у него, помню, под дудочку плясала на Фоминой недели[1]. Кро-

ме того, Антошка был отчаянный бабник... Что, спит Арина-то? – вдруг спросил рассказчик, подняв голову.

– Спит, спит, – рассказывай.

– Так, понимаешь? Главное, умел подделаться под баб: прибауток знал гибель. Любил он припевать такое стихотворение: «Как под мельницей, под вертельницей, там и старчки (нищие) дерутся, только сумочки трясутся». Во время пения строчит на балалайке и ногами маленько семенит.

Я его знал вот словно тебя и ходил к нему частенько за подсолнухами, за огурцами, а то просто какую-нибудь книжку спросить. У него были «Сухарева башня», «Змей Горыныч», «Правда о мужчине и женщине». Еще, как ее... от запоя что-то... кажется, «Польза от пьянства».

Прежде всего я тебе буду говорить, каков у него дом. Сейчас тыходишь в избу (изба чистая и светлая), видишь: в углу направо разбросаны сапожные инструменты, на стене картины наклеены, и висит под шляпою балалайка. По полу ходит аглицкий петух и куца галка бегают; галка у него предназначена для

прусаков, имя ей Матренка. Перед окнами висят две клетки с синицами; по жердям порхает чиж. На лавке под образами привязана к гвоздю крыса, а под столом лежат две собаки: одна белая – курятница-то, другая – щенок, Кубариком прозывалася.

– Зачем же у него крыса?

– А все же для выучки служился. Он, видишь ты, крысу учил на задние лапы становиться, держать трость через плечо и плясать. Да у Антошки не токмо крыса, даже мерин был ученый, лошадь лет пяти, рыжей шерсти: он умел носить в зубах плетушки, ведра с водою, воровать корм. Воровать выучил его Антошка таким образом. В сумерках водил его в чужие скирды и приставлял прямо мордой к сену, а сам из-за вала выбегал и пугал его; да так настроил животину, что она чуть заслышит шорох, так и пустится бежать, только копыта засверкают. Мужики сколько раз дорывались поймать его, – нет, погоди: лошадь не та, чтобы далась тебе. Этот мерин вот какого разума достиг, что знал, каким манером обойтись с мужиком и бабой, в случае, ежели нападут на него: от бабы он никогда не

бегал, а заложит уши назад и напустится на нее; баба закричит благим матом, не знает, сердечная, куда деваться. Но от мужика мерин бегал без всяких то есть отговорок; потому смыслит, что мужик – не баба: пожалуй, по ребрам съездит. Одно слово, лошадь четыре целковых стоила прежде, а после выучки сделалась без цены. В наше село приезжал один казак, – так он заподлинно сказал, что таких мереньев на Дону мало. А ведь на вид, братец мой, войлок просто: пять лет от роду, шея длинная, вся в орепьях, да еще выдерганный хвост; ноги косматые. Опричи всех этих забав, у Антошки находились на чердаке голуби турманы; штук до двадцати было. Как он за ними ухаживал! бывало, схватит помело, встряхнет волосами и начнет пугать, сам присвистывает: фю, фю, фю... Иногда зарядит, с утра до ночи охотится. Ежели же нечаянно налетит на стадо ястреб, то Антошка сам не свой бывает: и помелом тычет вверх, и кричит, и бегаёт – весь народ взбаламутит. Одна он в одной рубахе гнался за ястребом верст пять по деревням. Народ в изумление пришел, глядя на него; руками махает, горланит

изо всех сил. А то как-то улетела у него молодая голубка; Антошка живо схватил себе в подол кормочку овсеца и поскакал за голубкой. Она пролетела версты три, в селе Пестрове села на дом благочинного. Антошка второпях стал прямехонько перед окнами и принялся шептать: «Ксь, ксь, ксь...» Сам одной рукой держится за подол рубахи, а другой выхватывает оттуда овес, рассыпает его по земле и не замечает, что у окна сидит благочинного дочь, орехи щелкает. Право! голова был этот Антошка.

Расскажу тебе, как он жил дома, как обращался с своими птицами и собаками. Собирается, например, он обедать. Ну, вестимо, сам накрывает на стол, режет хлеб, выставляет из печи горшки. Вся* скотина, которая у него в хате, собирается к столу. Антошка садится среди ее, берет в подол к себе щенка и сидит, словно отец в семействе, и со всеми разговаривает. А синицы и чиж в это время заливаются песнями. Чиж летал повсюду: то на вербы порхнет, то на блюдо сядет. Подле хозяина на лавке стоял обнаковенно петух. Он все присматривался к щенку: чуть щенок зашевелит

лится в коленах, тотчас он его в голову стук, стук и пойдет долбить. Тогда Антошка говорил: «Смотри, смотри, Петька, – я те клевну!.. Глупец».

У нас на селе у парня Илюшки были тоже аглицкие петухи, так Антошка часто говаривал своему за обедом:

– Ты у меня, Петр Петрович, ныне скочетаешься с Плюшкиным петухом: если выручишь, я тебя тогда этак по головке поглажу... да ты не дерись... я тебе черто-плешину закачу; хозяин говорит, а ты должен слушать. Потом, когда видел, что галка, назобавшись, скакала по избе, обращался к ней:

– Галка, галка, Матренушка, куда ты? сыта? Галка, известно, ничего не ответит, а юрнет под печку

и оттуда уж что-нибудь прокричит на ответ.

Как должно понаевшись, Антошка вылезал из-за стола, поддергивал штаны и читал вслух молитву: «Благодарю тя, яко насытил мя».

Животные разбрелись по избе. Петух сиделся на перекладину, собака искала зубами

что-то в своем хвосту. Хозяин, подошедши к окну, набивал в трубку корешки – жилку. После отправлялся голубей гонять.

– Да кто был прежде этот Антошка?

– А вот кто. Антошка – сын одного земского. Сначала он учился в городе в училище, потом года четыре шлялся без должности: шалаем был. Отец приказал ему искать место. Антошка нашел себе место у некоей барыни, на конюшне. Должность заключалась в присмотре за лошадьми. Но только ему там не – посчастливилось; раз, в жаркий летний день, случилась оказия: барыне вздумалось съездить на пруд искупаться. Кучера не было дома, приказано собираться Антошке. Он заложил самую что ни есть лучшую пару в дроги, посадил барыню и покатил с нею на пруд, версты за полторы от села. Дорогой с ней разговорился. Барыня словоохотной была. Зашла речь об женитьбе:

– Что ты не женишься? – говорила барыня Антошке.

– А почему вы желаете, чтобы я женился?

– Да, – говорит, – лучше, как женишься: покойней...

– Это действительно, – говорит Антошка, – что покойней: по крайности нет этих тревог, – говорит...

Барыня доложила ему, что он не туда заехал, и приказала замолчать. Антошка только кнутиком замахал на лошадей.

По приезде на пруд Антошка высадил барыню на берег, сам отъехал подальше к кустам и стал там.

Барыня любила купаться вдоволь. Рассказывают про нее, истинная белуга плавает: то на спину повернется, то боком. Наконец, выкупалась она, вышла на берег, прыгнула к платью, да как ахнет и чуть не упала. А из ближнего-то куста выскочил Антошка. На другой же день формально приказано было прогнать его, чтобы и духу не пахло.

Ну, снова здорово, Антошка начал придумывать, где бы отыскать себе место. Пока думал, а в ту пору он по воскресеньям ходил в нашу церковь; пел тенором на крылосе, читал Апостол и тушил свечи у икон.

Апостол читал он здорово: ух, заберет, бывало, всех галок из-под крыши выгонит. И как прочтет, то всегда мужикам подмигивает:

«Дескать, каково?» И хлопнет крышками. То же звонил он на колокольне нередко – мастерски: на светлой неделе начнет отхватывать, так все; прохожие подплясывают, идучи по выгону. В прошлом году на святой у церкви собрались бабы лен барской стлать; десятской был хмелен. Антошка мигом вскочил на колокольню и тронул в колокола; бабы крепилась долго: всё слушали да посмеивались, но как Антошка хватил «барыню», все бросили работу, подобрали юбки и пустились плясать. Пьяный десятский поднял руки вверх, шлепает ногами и кричит: «Наша матушка Росея всему свету голова!»

А то Антошка имел обычай на колокольне галок ловить: страсть его. Раз, во время тоже светлой недели, когда попы были в приходе, он нагробастал целый мешок галчат с старыми галками и пришел к молодой дьяконице; дьяконица лежала на своем крыльце; над ее головой сидела старуха с гребенкой в руках. Антошка снял шляпу и говорит дьяконице:

– Здорово живете, матушка. Вот супруг ваш из приходу прислал кур христовлавных.

– Ну, спасибо, – отвечает дьяконица, – поди

снеси их в курятник.

Антошка снес в курятник.

Верить ли, как разозлился на это дьякон, приехавши из прихода: «Как он смел!» На другое утро сел и написал, прошение благочинному с жалобой: «Ваше высокоблагословение, такого-то и такого-то числа Антошка огородник в мою закуту высыпал целый мешок галок с птенцами; сказал моей жене на крыльце, что это христовские куры. Помилуйте меня: я человек семейный; во-вторых, мы на пасху кур не собираем, а больше рождеством, следовательно в самое во время собираем...» Благочинный даже бородой потряс от гнева; вон что наделал Антошка! Я тебе рассказываю все про те штуки, которые Антошка творил, живучи у отца. Отец ненавидел его шибко. «Хоть бы уж в острог поскорее его взяли», – говорил он.

Да и Антошке с отцом не всласть было жить. Однажды как-то, осенью, что ли, отец Александр объявил в церкви энифест: «То и то, православные христиане, на нас восстает англичанин; просим покорно в солдаты». Антошка, выслушав энифест, возрадовался.

Вскорости пошел в город и там нанялся за мещанского сына в солдаты. Уговорился, получил вперед денежки триста рублей. Прогулявши их, он подступил к мещанину и говорит:

– Вот что, почтенный, ты должен сообразить: что можно ли меня нанимать в солдаты? Ты сперва должен спросить у моей родимой матушки. Что она скажет? А так-то, ни уха ни рыла не смысла, не делают.

Мещанин посмотрел на Антошку и воскликнул (простачок он такой был):

– Да что ж значит? что это такое? Значит, грабеж? Значит, примерно, по-свинячьи поступаешь со мной? Стало быть, на тебе суду нет?

Однако пришел с ним вместе к его матери; мать – сердитая баба. Она в то же время страдала родами. Мещанин начал объяснять ей:

– Вот, значит, матушка Анна Ивановна, теперича благословите вашего сына; значит, удалиться он хочет от вас.

– Куда?

– В солдаты.

– В какие солдаты? Да ты у кого же спросился? Ты не видишь, сын болван? не ви-

дишь, он дурак?

Вскочила баба и давай полосовать мещанина за виски. Мещанин как вскрикнет: «Караул, значит, – убили! виски все повыдергали!» Дошла очередь до Антошки.

– Поди-ко ты сюда, – сказала ему мать. Антошка подошел и с покорностью наклонил голову.

Она его за волосы. Только мещанин отвечает:

– За что же вы, сударыня, деретесь? Значит, ваш сын триста рублей прогулял, а я виноват?

– А ты знаешь, лошавод этакой, у него порок на спине, шрам? (порока не было). Куда его возьмут? А без моего-то благословения материнского разве возьмут?

Мещанин поговорил крошечку, видит – с бабой не столкуешь, махнул рукой и вышел вон. Антошка себе за ним. На улице говорит взад мещанину:

– В ус не вдунулось, как я тебя надул.

– Да, – отвечает мещанин.

Вечером, с балалайкой под мышкой, Антошка забрался в заречную слободу в хоро-

вод, всем рассказывал эту историю и угощал баб прибаутками. «Ишь те леший поддернул наняться, – говорили бабы ему, – да что это ты? право слово».

Не хуже мещанина он обманул бабу солдатку. Потребовался ей пашпорт; она пришла к Антошке и сказала: «Иду, Антон Митрич, для проживания в город Пензу, как мне быть?»

Антошка отвечает: «Сейчас напишу тебе пашпорт». Написал ей грамотку и подает: «Ступай, матушка, на все четыре стороны». Баба с этой грамоткой пошла да в первом же городе и застряла. Ее остановили. А там в пашпорте написано. «Очистим чувства и узрим...» – целая песня праздничная. Печать приложена; под печатью подписано: «Слика-тарь Мерзавцев». Одно меня в сомнение приводит: как он не попался? Чего, чего не делал? Главная причина: счастлив был. Он, вот ты увидишь, еще не то сработает: он в дураках все наше село оставит.

Надо тебе сказать, что в ту пору, как солдатке он написал пашпорт, отец совсем выгнал его из дому. Тут Антошка нанялся к на-

шему огороднику. Огородник был человек старый, вдовый. Году не прошло после поступления к нему Антошки, как он умер. Антошка заступил его место. Огородником он стал жить поживать так, как я тебе описывал, то есть: занимался сапожным мастерством, обучал животных, продавал огурцы и увеселял баб. Бабы, нечего таить греха, любили его, хоть и безобразным считался. Иногда завидят его где-нибудь, закричат: «Антон, Антон Митрич!» – и махнут к себе рукой. Он подойдет, снимет шляпу, а ногу отшвырнет назад и хватит на струменте с припевом: «Кости болят, все суставы говорят». Сам то и дело подмигивает. Домовой был насчет этих делов! Но вот, слышь, жениться он ни за что не хотел. «Э, скажет, то ли дело – свобода: одно слово, Акулька, вздохни!»

Слушай, теперь пойдет история такого рода. Сейчас Антошка примется ворочать делами как следует. Ты, Сенька, спишь или нет?

– Где же? посмотри.

– Полюбилась Антошке одна девка на селе, по имени Апроська. Девка красивая, толстая, но маленько с придурью, так немножечко.

Тем больше понравилась она ему, что толста была. Подбрюдок висел у ней, словно у кормной свиньи; а ходила разваливалась: ступень давала ровно по рублю. Привычка у ней была такая: станет, бывало, у своих ворот, возьмет за брюхо руками и басит: «Чу-ух, чух, чух...» И такая незамайка. Подойдешь к ней, скажешь:

– Апроська!

– Чего?

– Ну, ничего. Завернется, пойдет.

Я, братец ты мой, был сердит на нее за то: как-то зимой мы с ней молотили рожь; я по колосу, она по поясам. Молотили, молотили, она как ожжет меня по лбу цепиикой. Месяцев шесть шишку носил! Вся в матушку свою родимую. Мать ослопина изрядная была. Я тебе расскажу, каковы эти люди дочка с матушкой: обе разини такие, что сказать не хочется. Года с два назад в нашем селе случился пожар. В Апроськином доме сидела одна ее мать, качала ребенка. Когда пожар начался, Апроська пришла с пруда домой, вправо, влево поклонилась (любимая ее ухватка), поздоровалась с матерью и затягивает не спеша:

– Матушка.

– Чего?

– Горят.

– Где, дочка милая, горят?

– Да Миколаевские горят. (А Апроськино село и есть Николаевское.)

– Ну, господь с ними, дочка любезная. Апроська и ушла на двор рубахи вешать.

На селе крик раздается, все гамят: слышно, пожар недалеко от Апроськина дома. А ее мать сидит и шепчет: «Шум какой... поди ты!..» Опять дочь приходит в избу. Мать на прежнем месте шепчет по-прежнему: «Дела какие... Оборони господи...» Апроська говорит:

– Матушка, горят.

– Чего?

– Горят.

– Да где, дочка милая, горят?

– Да Миколаевские горят.

– Да чего Миколаевские горят?

– Да как чего?

Насилу встала мать; пока обрывок снимала с ноги, пока иглу в голову втыкала, Апроська успела куда-то пропасть. Выходит в сени,

дочь ей навстречу. Стали они в сенях друг против друга, смотрят одна на другую и начинают. Сперва дочь (на селе голоса раздаются):

– Матушка!

– Чего?

– Горят.

– Да где, дочка милая, горят?

– Да Миколаевские горят.

– Да чего ж они горят?

– Как чего? Не видишь, дым в сенях?

Вдруг над ними обрушилась повесть и на голову огонь посыпался. Вот тебе горят! до чего дотолковались. Мать маленько еще поглупей будет дочери. Ты заметь, что Апроськи теперича вживе нет; она скончалась давно; поэтому осуждать ее я не хочу, бог с ней! Но что глупенька была! Насчет же красоты девка добро. Вот и полюбилась она Антошке. Сама, впрочем, Апроська не думала его любить. Антошка, невзирая на то, принялся ухаживать. Лишь где увидит ее, подскочит и начнет ублажать балалайкой, песенкой, рассказами разными. Девка в это время, известно, смотрит куда-нибудь в сторону или наземь. Потом слушает, слушает его и брякнет: «Не дури;

бачке скажу...» И отвернется. «Что за диво такое? – думает Антошка. – Я к ней всей душой, жить не могу, а она, как дерево; может, подарков хочет?» Приносит ей подарков: ленту, пуговицу там – нет! Замечает, девка пуще дичится, даже встречаться боится, наконец вообще не показывается. Иногда выйдет на крыльцо и опять скроется. Антошка будто призадумался.

Наступила весна. Сельские девки показались на лугах, на пустырях: явились хороводы. У нас хороводы бедовые бывают. Апроська с девками гуляет, Антошка тоже. Пошли игрища всякие. Антошка своего дела не бросает. По-прежнему прибаутками потчует Апроську. Иной раз среди игры, словно не нарочно, насунется на нее. Смотрит, девка снова заартачилась. «Что за оказия такая?» – рассуждает Антошка.

Дальше Апроська и в хоровод* бросила ходить. Зарю сядет у своего дома на завалинке с шитьем в руках, штопает и поет про себя басом: «В той кузне молодые кузнецы куют, дуют да наваривают». Долго ли, коротко, Антошка порешился вот на что: он принялся

подсиживать ее. Где ни на есть в канаву заляжет или возьмет под скирдами притулится. Больно, стало быть, в любви захотелось изъясниться. Уж он вчастую отзывался о ней: «Эх, девка-то прелесть!» Подсиживал день, другой – не показывается Апроська. Что ты будешь делать? «Погоди же, думает Антошка, я тебя подкараулю в другом месте; у тебя же на дворе. Ах ты дерево проклятое!»

Дом Апроськин стоял на горе с краю слободы. Той же весною, поздно ночью, Антошка забрался к ней на двор. Перешагнул через плетень, обошел закуты, высмотрел кругом и стал под навес в угол, где лошадиная сбруя вешалась. Темь была, глаз выколи. Антошка, однако, поместился так, что мог видеть избенную дверь. Он надеялся, что в нее выйдет как-нибудь Апроська за каким ни есть делом. Стоял он долго: не видать ничего, не показывается девка. Вдруг около двора что-то затрещало, заскрыпели ворота, и на двор въехал на телеге мужик. Антошка про себя говорит: «Ну, кого-то привалило». Это был Апроськин отец. Он слез с телеги, отпряг лошадь, снял хомут, взвалил его на плечи и идет к тому месту, где

стоял Антошка. Антошка видит эту церемонию, только не знает, куда скрыться. Мужик поднял над ним хомут и пялит на голову, думает, что на крюк вешает. Антошка как ударится бежать мимо мужика, мимо плетня, да в ворота и исчез. Вот тебе премудрость.

Мужик хомут уронил, разинул рот, растопырил руки, не понимает. Постоял, покачал головою, сотворил крестное знамение, плюнул и стал размышлять: «Кто, мол, это такой? Нечистая сила? Нет, господи спаси. Вор? Нечистая сила? Кто же это?»

Хомут лежал на земли, лошадь шлялась по двору. Пришедши в избу, мужик долго сидел под иконами повеся голову. Все домашние с изумлением смотрели на него: бледный сидит; шепчет про себя. «Не помешался ли?» – думали они.

Жена подошла к нему, дернула за рукав и сказала:

– Захарыч, а Захарыч, опомнись!

Он вздохнул и объявил:

– Так и так. На дворе у нас невесть что завелось.

– Что ж такое завелось?

Призадумались домашние. И так и этак прикладывали умы свои – ничего не выходит. Апроська лежала на печи, себе прикладывая ум – тоже ничего не выходило.

Немало мужики растабарывали промеж себя касательно, что на дворе не чисто. Заключение же тем: вор приходил – кобылу свести. Однако у образа свечу поставили и помолились на сон грядущий крепко.

Наутрево, после своей прогулки-то, Антошка, как ни в чем не было, сажал на своем огороде капусту, бегал с ведрами на реку. А после обеда поехал с дьячками на крестины в приход. Дьячков он любил: часто обнимался с ними, целовался, хоть заочно и называл их долгогривыми жеребцами. Когда Антошка ехал с дьячками в приход (у нас пятеро дьячков), то на телеге трясся пуще всех и выдвигался, будто каланча; обычай они все имели дорогой кнутиком собак дразнить. Ежели теперь слышишь на улице особенный брех, то знаешь, что это едут дьячки с Антошкой. Легонько на крестинах подвыпивши, Антошка ручался перед компанией, что он может комаринского пробежать, в случае, как позволит ему отец

Александр, – то есть даст свое, примерно, благословение. Но мужичок-хозяин отклонил его намерение, объяснивши, что новорожденный чуть жив, не до комаринских... «Ты пляши, говорит, да разум помни, Антошка. Тутось не девки тебе попались». И озадачил его. Антошка притих. После с сердцов говорит себе: «Уж ежели так, – значит, девками попрекать стали, затешусь же опять к Апроське, я ей дам».

Пришел май месяц. Мужики выбрались на дворы спать. Антошка знал это и, наверное, рассудил, что пора поспешить Апроську посетить; потому надо проведать, где она спит? Апроськины домашние спали кто где попало.

Теплою, погожею ночью Антошка при первом куро-глашении появился на Апроськином дворе. По обычаю, выглядевши все вокруг себя, зашагал он под навес, как словно дворной, что лошадям косы заплетает. Ночь была ни светла, ни темна: звезды горели, месяц не восходил, – знаешь, майские ночи. Перевел Антошка дух, недалеко, слышит, храпенье распространяется. В соседней закуте едят лошади корм, едят, едят да вздохнут. Антошка стоит себе, вздохнет: «Дескать, эхма! шутка

ли, забрался куда, в какую погибель! Ну, вдруг проснется кто, увидит? На месте уколотят». Мужик относительно сего безмилосерд. У нас в селе, знаешь, случай был: столяр увидел в сарае свою жену с холопом. Холѣп и жена стояли спиной к столяру и не видали, как он подкрался к ним и посадил обоих их на вилы. «Ну, ежели совершится то же событие? – думает Антошка, – была не была, начну. В главности, подсмотреть должно, где спит дерево Апроська?» А дерево знать не хочет рассуждений Антошки, почивает под навесом. Подошел Антошка к соломе, кто-то лежит; пощупал – борода чья-то. Антошка пошевелил бороду, борода вздохнула и повернулась к нему спиной. Догадался Антошка, что это отец. Приступил к саням: лежит Апроськин брат. Подошел к телеге, запустил руку, пощупал – что бы такое значило? Тронул в другом месте, – ничего. Тронул в третьем – как крикнет Апроська. Антошка драло. Вскричали мужики. Антошка в ворота. «Что за диво?»

– Апрось!

– Чего?

– Что ты кричишь, матка?

– Чево?

– Что ты кричишь?

– Да кто-то приходил.

– Кто же это приходил... Господи помилуй.

Кому приходиться в такую пору? кому приходиться? Феноген, а Феноген, – говорил своему сыну отец.

– Что, бачка?

– Слышь ты, что скажу: мякаю я, словно то есть у нас на дворе-то не чисто, а?

– Не знаю, бачка.

– Право слово, не чисто. Не чисто, говорю я. Собирайте-ка зипуны свои. Право, что-то... Пойдемте в избу. Господи! за что такая немилость? чем прогневили тебя, создателя?

Как встрепанные, все встали, собрали зипуны, кафтаны, сбились вместе и побрели бо-язливо по двору. Идут, прижимаются друг к другу, творят крестное знамение. Гроза будто на небе зашла и разыгралась. Испугались сердечные мужики. «В грозу, дескать, страшно спать на дворе... пойдём в избу... помолимся иконам... Авось пройдут тучи-то... Ишь как молния-то сверкает! Господи защити!..»

Да, братец мой Сенька, жуть была в ту по-

ру во всем нашем селе. Всем ведь втемяшилось, что к Апроське летает змей, не кто иной. О-о-хма! бывают на свете дела, тяжкие дела, Семен. Может, такие люди свыше насылаются, как Антошка, почем знать? На белом свете много чудес и таинств совершается. Иногда мне жалко становится Апроську, и особенно: пострадала она, бедная, на своем веку.

Прошла ночь. Мужики, только солнце взошло, явились к нашему священнику, рассказали ему все, что случилось ночью. Апроськин отец как плакал! Говорит: «Батюшка! за что такая невзгода?»

Антошка забыл думать о своих путешествиях. Рано-ранешенько он с бабами прогнал в стадо скотину. А когда мужики пошли к священнику, в это время он сидел на солнышке у своей хаты, поглядывал на поповский дом и зубами колол на балалайке вправлял: стало быть, приготавливался разыграть что-то.

Пред обедом дьячки с стихарями, с книгами, с кадилами тронулись в Апроськин дом. Шуму довольно было: на улице барщинские мужики остановили лошадей с возами, по-

снимали шляпы. Антошка, не будь дурен, оделся, схватил палку в руки и с дьячками побрел. Дорогой Лузину дьячку, у которого он купил щенка, рассказывал в смех, как некоего села дьячки подрались меж собой и как одному из них вырвали бороду. Эту бороду обиженный словно представил в консисторию при своем прошении и надписал внизу: «В удостоверение бесчинства прикладывается борода. Сию бороду выщипал пьяница, который обесчестил меня на крестинах».

– Ну, – говорил Антошка хозяину, – теперь у вас будет все благополучно. Помолились знатно!

Мужик зарыдал, послушавши эти речи.

Антошка сказал: «Не плачь. Видишь ли: помолились мы... следовательно, что ж тут? И разговаривать нечего: ведь заступница-то, она, брат, того... спасает; а твое дело, вестимо, правое».

За обедом Антошка советовал двум дьячкам затянуть погрустней, как можно: «Зряца мя безгласна».

На пиршество смотрел народ, стоял у дверей избы.

Пообедавши, причт поблагодарил хозяина, пожелал Апроське благополучия и вместе с Антошкой отправился домой.

Неделя миновала. Змей, кажись, призатих. Домашние Апроськины долго не ходили спать на двор, кругом запирались, но с Ильи-пророка[2] начали спать и на дворе. К Апроське на селе боялись приступить. Ежели же кто приступал, то обходом, стороной, вглядывался в нее и отходил прочь. Посмелей человек заводил с ней разговор: «Что, мол, змей-то обширен?» Апроська стояла и косилась.

Однава перед вечером приходят к Апроськину отцу два мужика: один мельник, другой простой мужик. Говорят: «Что, Петрей, как поживаешь?»

– Плохо, братцы, плохо. Наказал меня бог: ни одной ноченьки покойно не засну.

– Знамо, житье такое скверно; хотя, конечно, всякий может согрешить. Только мы, видишь, пришли к тебе по делу. Поставь-ко нам сивухи на стол, мы с тобой потолкуем.

Апроськин отец достал водки. Мельник слыл у нас за знахаря.

– Вот дело какое, – заговорил мельник. –

Рассуждали мы немало о тебе. Можем мы тебе сказать одно: ты подлинно наказан есть от бога; ты согрешил перед ним здорово!.. В хате у тебя кто-нибудь есть?

– Как же.

– Гони вон.

Апроська с матерью вышли из избы.

– Слушай, Петрей, – заблаговестил мельник. – Сказать, кто к тебе ходил?

– Ума, батюшка, не приложу. Полагать нужно, нечистота какая-нибудь. Известно, люди мы безграмотные: может, еще что шлялось.

– Нет, ты скажи мне: как зовут твою дочь? Апроськой?

– Апроськой.

– Так я тебе говорю: к твоей Апроське ходит не змей, а домовой... Слушай дальше: ежели же не домовой, то беспрременно дворной...

– Так, батюшка...

– Ну-ко, давай водки-то, не жалея. Объясню тебе еще притчу: девки существуют различные, какова натура: натуры тоже бывают различные. Поэтому Апроська Апроське

рознь и девка на девку не находит...

Охолостивши водку, мельник поднялся с места и сказал Петрею:

– Мотри же, не забудь, что я тебе толковал...

Мужик простой-то, что приходил с мельником, при выходе говорит Апроськину отцу:

– Ты понял, что тебе говорили? К твоей дочери приходил не змей, а домовый... Видишь?

– Вижу.

На пятую никак ночь, после Ильи-пророка, Антошка появился снова на Апроськином дворе. Забава эта была не широка. Он много не стал думать, раздумывать: прямехонько-таки подлетел к телеге, в которой спала Апроська, охватил ее за оглобли и повез домой со двора – в конопляник. В эту минуту вострепнулся Апроськин брат.

– Бачка, бачка, – крикнул он. – Девку увезли.

– Увезли?

– Увезли.

– Пошел!

Подбежали к воротам, телега на боку стоит, завязла между кольев. А Апроська в ней

дрыхнет.

С надворья же, поодаль от конопляника, в анбарчике такой стук раздается, словно барабан гудет. Подступили мужики, глядят: дверь приперта колом (это Антошка припер Апроськину мать). За дверью баба кричит: «Отоприте, Христа ради». Думают мужики: «Вон как! стало быть, значит, заточил бабу наглухо!» Сам Антошка, как слышал гомозню, пробрался через конопляник и был таков.

Пришли мужики в избу. Начался суд.

Что, мол, теперь делать? Как быть? Просто издыхать остается, боле ничего. Откуда такая пропасть?

– Бяда, – говорил сын. – Пропадешь, как червь капустная.

– Сгибнули совсем. Что ты станешь делать? Ах ты, тварь оглашенная! Ни единого часу нет спокойствия: то есть на волос забыться не дает. – Что теперь делать?

– Послушай, бачка, – объявил сын. – Надо безотмен-но ехать к ворожее: не замай ее осмотрит девку. Докуда мучиться?

– К ворожее, – крикнул отец. – Запрягай лошадей! Апроська с матерью в ту пору входили

с надворья

в избу, глаза прочищали.

Почесть немедля мужики собрались и поехали к ворожее. Утро покуда не наступало. В Апроськиной хате горел огонь; в ней сидели дочь с матерью. Они молча смотрели друг на дружку; мать зевала и почесывала в голове. Только Апроська запеваает:

– Матушка!

– Чего?

– Куда эта бачка поехал?

– Не знаю, милая моя. О-ох!

– Змея искать?

– Кажись, что так: змея искать...

– Вот!

Поглазели маленько и завалились спать. До солнца дрыхнули.

Как скоро мужики стали упрашивать ворожею лечить девку, она, братец мой, не на шутку запировала, – вскричала на них: «Вы, говорит, крещенные или нет? Зачем я пойду к вам? Да меня змей тогда закатает до смерти!» – «Не оставь, родимая, – твердили мужики, – не дай погибнуть». Вечером, набравши с собою горшков, трав, ладану росного, она

приехала в Николаевское.

Апроськин отец приказал домашним своим по двору разостлать соломы и холст протянуть, чтобы по нем пройти ворожее. Ворожея повидалась с Апроськиной матерью и принялась по столу припасы раскладывать. У образов, как водится, зажгли свечу; Апроську вывели на середину избы. Тут собралось сельское начальство: бурмистр, староста, приказчик. Тоже ребятишки нахлынули со старухами и девками. Апроська осматривает всех. Ее посадили на лавку и под лавкой затопили в горшке ладан; пошло лечение. Народ наблюдает, как ворожея орудует. Приказчик в картузе стоял и поплевывал назад, нередко попадая в бороду бурмистра. Он любопытствовал спросить у мужиков: видела ли Апроська змея и кто он такой? Ворожея ему сказала, что, ваше благородие, видеть змея человеку нельзя, ибо он есть дух. Приказчик с носом и остался, закурил трубочку. – К Апроське ворожея подбегала то с пойлом каким-то, сама все губами нашептывала, то с куреньем. Чад в избе подняли. Мать стоит у притолоки, спрашивает Апроську:

– Ну что, дочка милая моя, каково?

– Теперича легче, – отвечает Апроська.

– Как же можно, – прибавляет ворожея, – много помощи приносит...

Мать подойдет, погладит девку по голове.

Одним словом, через полторы недели Антошка опять забрался к Апроське. Ровно в полночь настужь растворил ворота, впрягся в сани (девка в санях спала) и повез их по двору. Так развадился путешествовать.

– Бачка! – гаркнул сын.

– Что? что?

– Вставай! Увезли.

– Увезли?

– Так точно.

Сани очутились уж близ конопляника. Мужики прибежали, глядят: в санях сидит Апроська, глаза кулаком чешет, – прислушались кругом – ничего нет.

– Апрось! кто тебя увез? – спрашивают.

– Змей, бачка.

– Так, бачка, – сказал сын, – это его работа; кому ж больше?

Отец, будто полоумный, смотрел на сына с дочерью. Пришедши в избу, он сел на коник,

схватил себя за волосы и заголосил:

– Господи! когда ж будет конец всем этим мукам? Жизни сейчас лишусь я; подайте мне оружие. Спать мне не дают; потому глаз сомкнуть нельзя!

– Бачка, остепенись; послушай меня, – заговорил сын. – Коли на то пошло, сию минуту надо ехать к начальству, прямо к становому.

– Ей-же-ей, к становому! – сказал отец. – То есть к становому! Скорей седлай поди лошадей.

Еще первых петухов не было, как мужики, снарядившись в путь, отправились в деревню Быковку к становому. Апроська с матерью заперли за ними двери и легли спать.

Становой любил уголовные дела: так и возрадуется, бывало, как скажут ему, что там-то один другого зарезал или кнутом засек. Звали его Федор Федорыч; низенького роста, руки длинные, толстая шея.

Но касательно указов, предписаний становой за лихача слыл. Навалиет и ловко и бойко: «По моему, дескать, мнению, то и то надобно, да чтобы про это дело никто не знал; иначе мне в тюрьме сопреть немудрено...»

Привычки у него были такие: ежели, например, собирался к какому-нибудь мужику на следствие, то обходился с ним ласково, трепал его по плечу и спрашивал:

– А что у тебя в доме, старичок, имущества много? Я, ты знаешь, леший: мне ничего на глаза не вешай.

Когда случай выходил, что в его передней мужичок доставал из кармана деньжонок (известно, мужик копается долго, когда достает деньги; будто о чем-то раздумье его берет), тогда становой обнаковенно курил перед ним трубку, водил себя рукой по макушке и говорил:

– Да ты, любезный, шляпу-то с рукавицами положи на пол: тебе ловчее будет.

Наших николаевских мужиков он принял хорошо: расспросил подробно все и справился, точно ли труды его не останутся без награды? И присовокупил: «Я, братцы, не поеду к вам сам; случай-то пустяшный. Ежели бы убийство...» Однако снабдил их, чем следует: рассказал, каким родом поймать змея, и строго запретил говорить про это на селе.

В обед мужики возвратились. Антошка, го-

нявши голубей на огороде, видел, как они ехали по улице, и издали снял им шляпу. Становой дал приказание: каждую ночь напролет караулить змея тридцати человекам, да так, чтобы его поймать и на месте уничтожить. «Я, говорит, его впрах расшибу». Затем, никому не болтать про стражу. Вдобавок мужики от него привезли писанный указ нашему приказчику об отпуске на караул мужиков.

Народ, хоть становой и заказывал не болтать, живо пронюхал его указ. Да как не пронюхать? Вечером Антошка первый пришел к дьячкам и говорит:

– Господа! не угодно ли кому со мной на караул отправиться? Становой дал приказание змеев уничтожать.

Один из дьячков согласился. В сумерках, после скотинного вгона, они вместе с толпами крестьян двинулись к Апроськину дому. А туда набежало народу – ужась. На дороге по селу девки, бабы шныряют. Кричат:

– Акулька!

– Ау-у-у!

– Погоди меня, погоди.

– Матрюшка, куда бежишь?

– Ох, матка; чудеса бегу смотреть. Говорят, становой змеев наловил.

Антошка с дьячком пришли к Апроськину дому. Народу видимо-невидимо вокруг двора; пушкой не прошибешь. Кто просто глазеет, а кто уж посылает за водкой.

– Что, касатка, – тараторят бабы, – говорят, змей-то шестиглавый?

Стража началась поздно сумерками. Карательные, выслушав указ станового, устроили дело так: они воздвигнули по дубине на плечи, приказали народу расступиться, потом с божией помощью вывезли телегу на улицу на средину дороги между конопляником и стали класть в нее девку – для приманки. Становой дал на это особое приказание: «Положите вы девку на ночь с тою целию, чтобы змея приманить, и не болтать никому про мое распоряжение, не то, говорит, я вас!» Апроська видит, обступили ее мужики с дубинами, возмечтала, что ее убить хотят. Шум подняла. Ее кладут в телегу, а она кричит: «Батюшка, заступись!» Мужики над ней стоят и говорят: «Лежи, девка, становой велел...»

Около полуночи мужики говорят: «А что?»

чай, не ладно торчать с дубинами среди дороги? Змей-то не с ума спятил, чтобы полетел тебе прямо навстречу». Один за другим, разбрелись по сторонам; человек пятнадцать затесались в коноплю и всю ее переломали. Остальные разместились обапол двора под навесом. Антошка также в числе караульных был. Он с дубиной гулял по двору: от нечего делать забежит в избу бражки попить, закурить трубку, а то подступит к Апроськину отцу и скажет: «Вот так-то, братец ты мой, вдревле оной змей свирепствовал в пустыне!» Мужик вздохнет крепко-прекрепко, индо слезы навернутся. Антошка выйдет наружу, постучит дубиной по воротам и грянет: «Слуша-а-а-ай!» А там вдалеке ему отвечают: «Подсматрива-а-а-ай!»

– Да цела ли девка-то? – крикнет Антошка.

Пойдет смотреть. Запустит в телегу руку, словно в огурцы, и скажет: «Цела!» Потом запятит снова: «Слушай!»

Так минула ночь.

Утром мужики едут к становому с отчетом.

– Ну что, как? – спрашивает он.

– Все благополучно, ваше высокоблагоро-

дие.

– Молодцы! А змея не видать?

– Нет, ваше высокоблагородие, не видать.

– Отчего же?

– Да не можем знать. Кто его знает?

– А приманку кладете?

– Как же, ваше высокоблагородие, кладем.

Уж и бог его ведаёт... Мы и «слушай» кричим изо всей мочи, и «подсматривай».

– Ну вот и вышли невежи. Разве можно такую птицу пугать своим зевом: «слушай» да «подсматривай»?

В следующую ночь «слушай» и «подсматривай» не кричали, тихо было.

Таким образом, стража продолжалась аккуратно месяц. Апроська не на шутку исхудала, сердечная.

Вдруг от станового приезжает верховой с объявлением: «Приманку не класть в телегу... Глупо класть приманку в телегу, тогда как... змею все равно: с приманкой ли телега, или без приманки, сиречь пустая она или с приманкой, значит с Апроськой. Не разберет ночью».

Приманку отменили. А Антошка бросил

ходить. «Дурак, говорит, я, что ли: стану без приманки шляться?»

Тем дело и кончилось.

1858

Примечания

1

Фомина неделя – вторая неделя после пасхи.

[^^^]

2

С Ильи-пророка – то есть с 20 июля по ст. ст.

[^^^]